

ВО ВРАТАХ
ТВОИХ



Сказал Эсав Амалеку: «Сколько раз я пытался убить Яакова, но не был дан он в мою руку. Теперь ты направь мысль свою, чтобы осуществить мою месть!» Ответил Амалек: «Как смогу я одолеть его!» Сказал Эсав: «Расскажу я тебе о законах их, и когда увидишь, что пренебрегают они ими, тогда нападай».

Мидраш

Останавливались ноги наши во вратах твоих, Иерусалим...

Псалом

В некоторых африканских племенах верх бесстыдства считается хождение с бюстгалтером...

Текст, не прошедший редактуры



Редактором в фирму «Тим'ак» меня пристроил поэт Гриша Сапожников, славный парень лет пятидесяти, уютно сочетавший в себе православное пьянство с ортодоксальным иудаизмом. (Впрочем, в Иерусалиме я встречала и более диковинные сочетания, тем паче что иудаизм пьянства не исключает, а, напротив, включает в систему общеврейских радостей, у нас, помилуйте, и праздники есть, в которые сам Господь велел напиваться до соплей...)

А Гришка, Гриша Сапожников, носил еще одно имя — Цви бен Нахум; это здесь случается со многими. Многие по приезде начинают раскапывать посконно-

ДИНА РУБИНА

иудейские свои корни. Хотя есть и такие, кто предпочитает доживать под незамысловатой российской фамилией Рабинович.

А вот Гриша, повторяю, как-то ухитрился соединить в себе московское прошлое с крутым хасидизмом — возможно, при помощи беспробудного пьянства.

Он работал в одном из издательств, выпускающих книги по иудаизму на русском языке.

Из-за феноменальной его грамотности Гришу в издательстве терпели. Например, строгий тихий рав Бернштейн, чей стол в тесной комнатенке стоял вплоты к Гришиному, вынужден был терпеть запах перегара, налитые преувеличенной печалью Гришины глаза и, главное, — его драную майку. Дело в том, что по известной причине Грише всегда было жарко.

Как ни зайдешь к нему в издательство — он сидит себе в майке, отдувается, а на стене над ним висит на гвоздике малый талит. (Я объясняю для тех, кто не знает: это нечто вроде длинного полотенца с отверстием для головы посередине, с концов которого свисают длинные нити — цицит.)

— Погоди, я оденусь, — обычно говорил Гриша, снимая с гвоздика талит и, как лошадь в хомут, продевая в отверстие голову. При этом его пухлые плечи с кустиками волос оставались на виду. Меня-то, как человека циничного, обнаженные Гришины плечи смутить не могли, а вот раву Бернштейну явно становилось не по себе, тем более что, беседуя, Гриша то и дело обтирал подолом талита потную шею движением буфетчика, обтирающего шею подолом фартука.

— Запиши телефон, — сказал Гриша, отдуваясь и обтирая шею, — там нужен редактор, это издательская хевра. Спросишь Яшу Христианского.

— Какого? — уточнила я преданно.

ВО ВРАТАХ ТВОИХ

Он достал из стола бутылку водки, налил в бумажный стаканчик и выпил.

— Да нет, это фамилия — Христианский, — крикнув, пояснил Гриша. — Кстати, он пишет роман «Топчан», так что боже тебя упаси проговориться, что в Союзе у тебя выходили книги и вообще что ты чего-то стоишь. Ты ничего не стоишь. Ты — просто дамочка. Старательная дамочка, набитая соломой. Понятно?

— Понятно, — сказала я. — Спасибо, Гриша.

— Рано благодарить. Он тебе устроит нечто вроде проверки. Сцепи зубы и стерпи. Его все знают за жуткую...

Рав Бернштейн кашлянул, и Гриша, запнувшись, закончил:

— Одним словом, оглядишься.

Когда рав Бернштейн вышел из комнатки, Гриша обер шею подолом талита и сказал:

— Тут и так жарко, а они еще окна загерметизировали.

Окна были исполосованы клейкой лентой вдоль и поперек. Как у меня дома.

— Гриш, война будет? — спросила я.

Цви бен Нахум налил водки в бумажный стакан, глотнул и сказал:

— А хер ее знает...

Накануне войны улицей темной и тесной пробиралась я в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

(Позже, при свете дня, улица оказалась самой обыкновенной, не широкой, но и не узкой, автобусы ходили в обе стороны. Что это было тогда — эта сдавленность восприятия, этот спазм воображения, это сжатие сердечной мышцы — в ожидании войны, дня за три, кажется?)

ДИНА РУБИНА

Объясняли, что справа должен тянуться зеленый забор, потом какая-то стройка, повернуть налево и войти во двор.

Кой черт забор, да еще зеленый — поди разберись в этой тьме! — я поминутно спотыкалась об арматуру, торчащую из земли, и поэтому поняла, что забор кончился и началась стройка...

До сих пор в слове «война» заключался для меня Великий Отечественный смысл — школьная программа, наложенная на биографии родителей и расстрелянных родственников. Но поскольку Отечество накренилось, сдвинулось и, отразившись пьяной рожей в тысяче осколков разбитого этой же рожей зеркала, полетело в тартарары, неясно стало — как быть со старыми смыслами и чего ждать незащищенной коже и слизистой глаз, носа, рта. (Противогазы нам уже выдали. Борис составил их аккуратно на антресолях хозяйского шкафа.)

Итак, накануне войны улицей темной и тесной, как тяжкий путь к свету из материнской утробы (она и называлась соответственно — «Рахель имену», что в переводе на русский означает «Рахель — наша мама»), я пробиралась в поисках восточного дворца с фонтаном и пальмой.

Когда-то, до Шестидневной войны, во дворце размещалось посольство то ли Эфиопии, то ли Зимбабве, а после начала войны эта самая то ли Нигерия, то ли Тунис разорвали дипотношения с нами (с нами? с этими, здесь, ну, с Израилем), и посольство в полном составе драпануло из дворца, оставив фонтан и пальму — на редкость крупный, можно сказать, кинематографический экземпляр, высоченная прямая пальма с мощным волосатым стволом, а вот породу — не скажу, не знаю,

ВО ВРАТАХ ТВОИХ

в нашей стороне (в нашей? в тамошней, в российской) такого не росло...

В полнейшей уличной тьме здание мавританской архитектуры было тепло освещено изнутри ярким желтым светом, и этот свет падал на большие жесткие листья пальмы, на фонтан, подсвечивая их, словно театральную декорацию.

Я поднялась по внешней, легким полукругом взбегающей на второй этаж лестнице, миновала террасу, толкнула дверь и вошла в очень просторный, почти незаставленный холл. Через стеклянные двери аудиторий видны были юношеские головы в цветных вязаных кипах. Я пошла в боковой коридор, столкнулась с каким-то парнишкой, спросила на плохом своем иврите, где тут читает лекцию рав Карел Маркс, — тот указал на дверь, я постучала и вошла. В этот вечер разбирали тему первой битвы Израиля с Амалеком. Он оказался пылким изящным чехом, этот рав Маркс, — жесты имел округлые, певучие, то и дело вонзая указательный палец куда-то над головой, в потолок.

— Не народ против народа, — с мягким нажимом произносил он и смуглые сильные кисти рук разбрасывал при этом в стороны, как пианист в противоположные концы клавиатуры, расставлял боевыми шатрами друг против друга. — Но Бог против народа! — И плавной дугой указательным пальцем — вверх, в потолок.

Талантливым проповедником был рав Карел Маркс. На иврите говорил достаточно хорошо, хоть и с заметным акцентом. Например, гортанное, на связках «рейш», мягко всхлипывающее у сабр, у него рокотало где-то в носоглотке.

В перерыве все вышли на террасу — там на столике стояли электрический самовар, одноразовые стаканчики, кофе, печенье на тарелке.

ДИНА РУБИНА

— А здесь культурно, — сказал кто-то за моей спиной, — и чисто. Они, по-видимому, к консервативной синагоге принадлежат...

— А я в ортодоксальную иешиву ходил, — ответил на это другой, — так я в жизни столько мяса не ел, сколько там дают. Даже компот с мясом...

Домой возвращалась в автобусе со старостой группы Гедалией — приятным пожилым человеком с лицом симпатичной козы, — кажется, он работал где-то в университетской библиотеке.

Когда миновали район Мошавá Германит и автобус въехал на Яффо, ярко освещенную центральную улицу с там и сям бегающими огоньками рекламы над магазинами, стало веселей на душе. И поскольку говорили-то все о том же, Гедалия вдруг неуверенно улыбнулся в слабую бороду и сказал:

— Не думаю, чтобы бомбили Иерусалим. Здесь все-таки мусульманские святыни.

Я возразила:

— Знаете, как-то перспектива бомбежки Тель-Авива тоже мало радует.

— Конечно, конечно, — он смутился. — И потом, у нас тут горы, а газ, как вам, наверное, известно, стекает и стелется понизу.

— Да, мне известно, — сказала я...

...Первые недели эмиграции показались тяжелой болезнью — брюшным тифом, холерой, с жаром, бредом, да не дома, на своей постели, а в теплушке бешеного поезда, мчащегося черт знает куда. Между тем деятельно занимались делами: отстаивали в нужных очередях к нужным чиновникам, получали пособия, сняли квартиру в хорошем районе — правда, религиозном, да шут с ним, какая разница, даже любопытно... Вот только воду приходилось кипятить в кастрюльке. Наш новый

ВО ВРАТАХ ТВОИХ

эмалированный чайник сгинул в чудовищной пучине шереметьевской таможни.

Соседи слева подарили нам холодильник, который был, вероятно, старше, чем Страна. Он никогда не отключался, поэтому скалывать лед, выползавший из морозильной камеры, можно было только ледорубом.

Соседка справа в первый же вечер занесла мне халат и израильский флаг. Флаг был стиранным, халат — тоже. Сын настаивал, чтобы флаг был немедленно вывешен на нашем балконе.

Едва мы заволокли чемоданы в пустую квартиру и вдохнули запах только-только высохшей побелки, зазвонил телефон.

— Семейство Розенталь? — спросили гортанно в трубке.

— Нет, — ответила я по-русски и, спохватившись, исправилась: — Ло.

В трубке еще что-то спрашивали, я торопливо перебила заученной фразой:

— Простите, я не говорю на иврите... — и повесила трубку.

В тот же день съездили на мебельный склад и привезли оттуда полную машину рухляди: несколько колченогих стульев, две тахты, диван с чужой ножкой, длиннее остальных трех, раскладушку — и огромный обшарпанный канцелярский стол, в котором недоставало трех ящичков. В верхнем ящичке этого стола я обнаружила записку на русском: «Не забудь полить цветок»... (Поезд все мчался, мчался — куда? зачем? что будет со всеми нами? Дети каждый день выпрашивали три шекеля и, ошалевшие от здешних супермаркетов, бегали за жвачками.)

Мы же почти перестали говорить друг с другом, оба умолкли, даже не жались один к другому, как перед

ДИНА РУБИНА

отъездом из России, когда тревожно было расстаться на час... Я подозревала, что и Борис болеет этой неназываемой болезнью...

В первую ночь мне приснился сон о иерусалимских банях. Я мылась там вместе с «черными». И как в прежних своих тягостных снах о метро, я была, конечно, абсолютно голая, просто до неприличия. Хасиды сурово отводили от меня глаза и яростно намывливали на себе лапсердаки и шляпы. Колебались пейсы, которые светская публика называет «блошиными качелями».

Я проснулась и спросила Бориса:

— В Иерусалиме есть бани?

Он подумал, сказал:

— Наверное... В каких-нибудь отелях... Вообще, бани — это не еврейская забава.

— Почему? — спросила я.

— Видишь ли, возможно, мы всегда предчувствовали тот жар, спаливший половину нации, ту страшную парную...

(Бешеный поезд все мчался, мелькали какие-то пейзажи за окнами — средиземноморские, дивные, картинные — как, вы не были еще на Мертвом море? — вот где потрясающе красиво... Температурный бред тифозного больного: где я? где я? пить... «Это называется у нас хамсином, — приветливо объясняли мне, — нужно пить как можно больше».)

В первую субботу зашли к нам доброжелательно улыбающиеся соседи, подарили Борису талит и пригласили в синагогу. Вернувшись после трехчасовой молитвы, он повалился на тахту с поломанной ножкой и сказал: для того, чтоб быть евреем, нужно иметь здоровье буйвола, боюсь, мне уже не потянуть...

...Наконец сумасшедший поезд сбавил скорость, и можно было уже различить что-то за окнами его: ис-

ВО ВРАТАХ ТВОИХ

кусно сделанные парики, похожие на натуральные прически, и густые вьющиеся пейсы, похожие на букли парика; в белой хламиде шел по тротуару царственно прекрасный эфиоп, такой величественно статный, такой слишком настоящий, что даже казался актером, удачно загримированным для роли Отелло; то два хасида, шествующих по Меа Шеарим, напоминали Стасова и Немировича-Данченко, или вдруг ухо выхватывало из радиопередачи: «...выступал хор Главного раввината Армии обороны Израиля...»

...Дом, на последнем этаже которого мы сняли небольшую квартиру, стоял на одном из высоких холмов Рамота, одного из самых высоких районов Иерусалима. С балкона последнего, четвертого этажа такой расстелился вид на город — хоть экскурсии сюда води. По левую руку — гора Скопус вдали с башней университета, по правую — башня знаменитого отеля «Хилтон». Вдали синела кромка Иорданских гор... Ну и так далее...

Дом стоял на холме, выступая углом, — наш балкон, если смотреть снизу, с зеленого косогора, напоминал кафедр. Словом, некая возвышенность присутствовала.

Кстати о возвышенности. Мне кажется, что наличие некоего возвышения не скажу — обуславливает, но располагает к поискам в собственной душе не скажу — вершин, но возвышенностей, да. Так что я вижу прямую зависимость религиозного состояния общества от рельефа местности. Вероятно, с вершин уместнее взывать к Богу.

(Что касается меня, то я всегда знала, что Бог есть. Я говорю не об ощущениях, а о знании. Это при абсолютно атеистическом воспитании в совершенно атеистической среде. То есть в полном отсутствии Бога. Моя младшая сестра в детстве перед экзаменом по музыке молилась на портрет польского композитора Фредери-